



Йоханне посвящается



Ты ещё здесь

Выбрось свой страх
в окно
Скоро
время твоё истечёт
скоро
небо прорастёт сквозь траву
и мечты твои канут в никуда

Ещё благоухает гвоздика
ещё поёт дрозд
и ты ещё можешь любить
дарить слова
ты ещё здесь

Будь тем что ты есть
Дари что имеешь

Роза Ауслендер



ДО ТОГО

Моё самое первое воспоминание о Ма — это Ма почти у самой верхушки дерева. Скорее всего, дело было осенью, потому что я вижу вокруг неё уже не зелёные, но ещё и не бурые листья, которые морщатся, принимая причудливые формы, и когда Ма шевелится, они издают громкий сухой шорох, похожий на шёпот фей.

Ма стоит на самой верхней ветке, которая ещё способна выдержать её вес, рвёт каштаны, будто яблоки, и, не глядя, бросает их мне — так быстро, что я не успеваю ловить. Они сыплются мне на руки, на плечи и с шорохом устилают землю у моих ног. Я осторожно высвобождаю их из колючей кожуры и складываю в свой свитер, как в фартук. Когда каштаны на минуту перестают сыпаться сверху, я запускаю руку в грудку красновато-коричневых ядер и ласкаю их, как маленьких гладких безликих зверьков.

В нескольких шагах от дерева стоят другие дети с нашей улицы и смотрят вверх, руками прикрывая глаза от солнца.

Пахнет всем, что только есть вокруг: сморщенными сухими листьями, разогретой на солнце корой, землёй и даже котлетами — от волос кого-то из детей. Не пахнет только каштанами. У каштанов нет запаха.

— А что твоя мама делает? — спрашивает какой-то мальчик.

— Рвёт каштаны, — отвечаю я. — Мы будем делать из них фигурки.

— Так они же сами попада́ют на землю, — говорит кто-то. — Завтра или послезавтра.

— А нам они нужны сегодня, — возражаю я и опять смотрю вверх.

Узкое лицо Ма появляется в одном из маленьких треугольных просветов среди ветвей на фоне голубого неба, её длинные рыжие волосы с запутавшимися в них светлыми сухими листиками обрамляют широкую улыбку её ярко-красных покрашенных губ. Всё в ней сияет радостью.

Мне года четыре, и всё, что я вижу вокруг, мне привычно и знакомо до мелочей.

ВОСКРЕСНОЕ УТРО

В воскресенье первого октября в 7.02 я в первый и последний раз в жизни видел, как работает дефибрилятор. Это такой прибор, который теперь висит на стене в любом торговом центре и с помощью которого люди пытаются оживить умирающих. Именно это и делали два сотрудника скорой помощи с моей мамой.

— Разряд!

— Нет. Ещё раз. Разряд! — слышал я, глядя на этих людей в ярко-красных костюмах, склонившихся над Ма.

Я видел её тёмно-рыжие волосы, на которых, как на оранжевом коврикe, стоял коленями один из врачей. Ма лежала на полу. Дефибрилятор был похож на раскрытый ящик для инструментов, только с маленьким экраном, и на этом экране мерцала прямая голубая линия. Между возгласами врача раздавался как бы звук работающего насоса, потом пощёлкивание — и зловещая тишина. Возглас, хрип насоса, пощёлкивание, тишина. Возглас, хрип насоса, пощёлкивание, тишина. Это повторилось трижды, прежде чем Па заметил меня в дверях. Он подошёл ко мне, молча взял меня холодной как лёд рукой за плечо и выпроводил

в тёмный коридор. Посмотрев на меня сверху вниз, он так и не произнёс ни слова.

— Разряд! — услышал я ещё раз это «заклинание», прозвучавшее на той же ноте, как будто заела пластинка. А потом, прежде чем отец снова вошёл в спальню, оставив меня в коридоре, один из врачей тихо сказал:

— Бесполезно...

Из темноты коридора постепенно проступили до боли знакомые формы и очертания: громоздкий жёлтый комод, сохранившийся со студенческой поры Па, который Ма называла «монстром», охапка растрёпанных зонтов и кривой рыцарь в человеческий рост — я смастерил его из дерева в первом классе, и он показался отцу таким забавным, что с тех пор так и остался стоять в коридоре. И мне почудилось, будто все эти предметы, мимо которых я столько лет ходил, не обращая на них никакого внимания, вдруг изменили свои формы или размеры. Как будто я очутился в одном из этих дурацких фильмов, где кто-то неожиданно превращается в карлика и окружающий мир вдруг кажется ему чужим и нереальным.

Рядом с кривым рыцарем стоял Крошка. Второй рыцарь, почти такой же неподвижный, только на три головы ниже первого и в пижаме.

Мой брат, когда был ещё совсем маленьким, сам дал себе прозвище Крошка (так звали хомячка Нильса Хольгерссона в японском мультфильме) и только совсем недавно вдруг изъявил желание, чтобы его называли Карлом, но все, конечно, продолжали называть его Крошкой.

Крошка ревел. Если бы он и в самом деле был хомяком, борода бы у него тряслась, потому что, когда он ревёт, его верхняя губа всегда дрожит, как у всех грызунов во

время еды. Диапазон Крошкиного плача очень широк: агрессивно-усталый плач, которым владеет любой шестилетний мальчишка, плач типа «а я всё равно хочу!», чуть более пронзительный, который «включается» мгновенно, как по команде, или плач, вызванный острым недостатком внимания. Крошке требуется гораздо больше внимания, чем мне.

Но это был другой плач. В этот раз Крошка плакал тише, чем обычно, почти беззвучно, и слёзы градом, стремительно катились по его щекам. Он просто плакал — плач словно заменял ему дыхание. Он не перестал реветь, даже когда я наклонился к нему и попытался обнять.

Когда человек стоит, как замороженная рыба, его не так-то просто обнимать. Поэтому я завёл Крошку в кухню и усадил на его горячо любимый красный детский стул. Тут я вдруг обратил внимание на его ноги, которые свисали со стула, как ноги моей старой плюшевой обезьяны: они вдруг показались мне слишком длинными, как будто мой брат за ночь вырос на двадцать сантиметров. На кухне было достаточно стульев, но я почему-то сел на пол, прислонившись спиной к большому шкафу, дверцы которого под тяжестью моей спины тихонько скрипнули. Они как будто вздохнули: «Да, да...», и это были первые слова, обращённые ко мне в то утро.

Минут пять мы с Крошкой молча сидели на кухне и сверлили воздух пустыми глазами — я на высоте шестидесяти сантиметров, Крошка на высоте метра. Крошка время от времени тихонько шмыгал носом, и этот звук дополнил череду звуков из соседней комнаты: шмыганье, возглас, хрип насоса, пощёлкивание, тишина. Шмыганье, возглас, хрип насоса, пощёлкивание, тишина.

Потом прекратились все звуки, кроме шмыганья, и в кухню вошёл Па.

Каждый раз, когда мой отец входит в какую-нибудь дверь — это особый аттракцион, потому что рост у него — один метр девяносто восемь сантиметров, а плечи — как у трёхкратного чемпиона мира по плаванию. Любая обычная дверь вынуждает его немного втягивать голову и наклоняться вперёд, и тогда его тело кажется ещё больше.

Мой друг Янус говорит, что когда в первый раз пришёл ко мне домой, то испугался моего отца. А Янус — парень не робкого десятка.

Но в то воскресное утро мой отец утратил всю свою мощную стать. У него было неестественно бледное лицо, как будто кто-то подкрасил его белой краской, чтобы ещё больше подчеркнуть всё, что на нём было тёмным: тонкие складки, протянувшиеся от носа к уголкам губ, тени под глубоко посаженными глазами, трёхдневную щетину. Из-за этого чёрно-белого лица он казался старше, гораздо старше. И когда я увидел его таким, я понял: чуда не случилось, то, что произошло в соседней комнате, — необратимо. Неожиданного спасения не будет. Тишина. Тишина. Тишина.

— Бен...

Па смотрел на меня так, словно только что вернулся из другого мира и моё лицо ему было нужно как опора, в которую он вцепился взглядом, чтобы не улететь назад, как герой одного научно-фантастического фильма. Он несколько раз вдохнул и выдохнул, прежде чем продолжил говорить.

— Они не смогли вернуть Ма...

Крошка сполз со стула, я тоже невольно поднялся на ноги. Мы стояли посреди кухни как три магнита, притягивающие друг друга. Па, как в замедленной съёмке, вытянул свои длинные руки, напоминающие лопасти комбайна, и заключил нас в объятия.

Я не помнил, когда он в последний раз меня обнимал. Наверное, когда меня в третьем классе подняли на смех, потому что я поскользнулся на куче собачьего дерьма. Тогда Па обнял меня, хотя сам после этого весь был в дерьме. Может, это вообще не принято — чтобы отцы и сыновья обнимались. А может, Па просто приберегал мужские ласки для особых случаев.

Именно об этом я и подумал, уткнувшись лицом ему в живот и почувствовав его запах — лёгкий запах табака, въевшийся даже в его пижаму.

А ещё я вспомнил, как часто меня обнимала Ма, каждый раз против моей воли, так, как умела только она, — крепко и в то же время свободно, вспомнил свои ощущения от её объятий, её длинные волосы, щекочущие лицо, и тихое звяканье стеклянных браслетов-обручей на её запястьях у меня за спиной.

Ма умерла в ослепительно солнечный октябрьский день. В книжках, когда кто-нибудь умирает, обычно идёт дождь. Или стоит туман, такой густой, что сквозь него не пробиться ни одному солнечному лучу. Это больше подходит к смерти, сильнее подчёркивает мрачное настроение.

А я не хочу, чтобы эта история получилась мрачной. Я и сам не знаю, кажется ли мне эта история мрачной. Я даже не знаю, получится ли из этого вообще история. Но если получится, то она должна быть о том, как это

бывает, когда кто-то неожиданно умирает. Как проходят первые дни, как люди свыкаются с мыслью об этом. Или, наоборот, никак не могут к ней привыкнуть.

Во всяком случае, я думаю, что в такой истории важна правда. Даже о погоде. А правда такова, что день, когда совершенно неожиданно умерла моя мама, был ослепительно солнечным. Это был один из тех осенних дней, когда яблоки на деревьях кажутся такими спелыми и пахнут так сладко, что хочется съесть яблоко, даже если ты терпеть не можешь яблоки. Впрочем, в тот день яблони мне вообще не попадались на глаза. Вернее, может, и попадались, но я их не замечал. Потому что в тот день всё было совсем не так, как обычно. А после этого — тем более.